Юность

Автор:
Лев Толстой

Юность

Лев Николаевич Толстой

«Детство. Отрочество. Юность» #3

Повесть «Отрочество» – вторая часть знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство. Отрочество. Юность». У Николая Иртеньева в Москве появляется новый наставник. Жизнь вокруг кипит, но Николай чувствует себя все более одиноким и мечтает скорее преодолеть «пустыню отрочества»…

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества».

Лев Толстой

Юность

Глава I

Что я считаю началом юности

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало юности.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне. St.-Jer?me присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было – самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно.

Глава II

Весна

В тот год, как я вступил в университет, святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на страстной я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться.

Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иваныч называл«сын за отцом пришел», уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капели, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, к конюшне мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, – меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую «Алгебру» Франкера, в другой – маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было все начинать сначала; мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать; я бросил мел, «Алгебру» и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче страстная середа, нынче мы должны исповедоваться и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.

– Позволь, я тебе помогу, Николай, – сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.

Замазка была отбита, гвозди отогнуты, но, несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась.

«Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним, – подумал я, – значит, грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась набок и вышла.

– Куда отнести ее? – сказал я.

– Позвольте, я сам управлюсь, – отвечал Николай, видимо, удивленный и, кажется, недовольный моим усердием, – надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.

– Я замечу ее, – сказал я, поднимая раму.

Мне кажется, что, если бы чулан был версты за две и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.

Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листы моей «Алгебры» и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.

Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, закрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное – этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, – все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже

что красота, счастье и добродетель – одно и то же. «Как мог я не понимать этого, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! – говорил я сам себе. – Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидать мокрую от дождя, тенистую, лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстии окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождевого воздуха и подумать: «Как мне не стыдно было проспать такой вечер», – и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.

Глава III

Мечты

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, – думал я, – и больше уж никогда не буду… (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать Евангелие, потом из беленькой, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

У меня будет особенная комната (верно, St.-Jer?me’ова) и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это «все», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже

вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России… даже в Европе я могу быть первым ученым… Ну, а потом? – спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты – гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений: – Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь играть на флейте). Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее… Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо. Первый день буду держать по полпуда «вытянутой рукой» пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я…»

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет

человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невозможности – волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта она была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василья, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье – такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастие, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, – благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?

Глава IV

Наш семейный кружок

Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, бренчал на фортепьянах свои любимые штучки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, вроде того, что грузинский царевич видел Мими на катанье и так влюбился, что подал прошение в синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику, – и с серьезным лицом сообщал нам эти новости; пугал Катеньку пауками, которых она боялась; был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались, и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию, то в том, чтоб купить именье в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством, и т. п. Но, кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье – оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом и с таким лицом, на котором так и читаешь слова: «Бедные сироты! Несчастная страсть! Хорошо, что ее уж нет», и т. п. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои игорные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму; выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно, от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тотчас после пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после.

Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым (с Дмитрием же они начинали холодно расходиться). Главные их удовольствия, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которую, как кажется, влюблены были вместе, и танцевали визави уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то,

что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас. Мы чувствовали слишком большую разницу – между мальчиком, к которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, – чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой; но, несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга. Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала; когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом только, услыхав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство – это кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта и с этой целью усердно занималась музыкой. St.-Jer?me, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилась с каждым днем все огорченнее и огорченнее и, казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего.

Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jer?me’a; папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при maman или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час все семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах (чему подавал пример сам St.-Jer?me), разваливаться на стуле, вставать не дообедав и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело, бывало, в Петровском, когда в два часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтоб бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово!» – провозглашает он громким, протяжным

голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмаленными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или то ли дело, бывало, в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврило уже прошел доложить, что кушанье поставлено, – вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка, в чепце с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврило бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод – предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий.

Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду.

Болтовня Мими, St.-Jer?me’a и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжон Корнаковых платья с воланами и т. д., – болтовня их, прежде внушавшая мне искреннее презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки, не старался скрывать, не вывела меня из моего нового, добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток; улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с St.-Jer?me’ом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить je puis,[1 - я могу (фр.).] чем je peux.[2 - я могу (фр.).] Должен, однако, сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи; я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что «все это не то».

– Отчего же не то? – спросила Любочка.

– Ну, да и это хорошо; ты меня не поймешь, – и я пошел к себе на верх, сказав St.-Jer?me’у, что иду заниматься, но, собственно, с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать.

Глава V

Правила

Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиневать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, – лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиневал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучился, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?..

– Духовник приехали, пожалуйте вниз правила слушать, – пришел доложить Николай.

Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах с строгим старческим лицом, благословил папа. Пала поцеловал его небольшую широкую сухую руку; я сделал то же.

– Позовите Вольдемара, – сказал папа. – Где он? Или нет, ведь он в университете говеет.

– Он занимается с князем, – сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела отчего-то, сморщилась, притворясь, что ей что-то

больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.

– Что, еще новый грех сделала? – спросил я.

– Нет, ничего, так, – отвечала она, краснея.

В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.

– Вот, тебе все искушение, – сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке.

Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.

– Вот видно, что ты иностранка (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка), – перед этаким таинством, – продолжала она с важностью в голосе, – и ты меня нарочно расстраиваешь… ты бы должна понимать… это совсем не шутка…

– Знаешь, Николенька, что она написала? – сказала Катенька, разобиженная названием иностранки, – она написала…

– Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, – сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас, – в такую минуту, и нарочно, целый век, все вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.

Глава VI

Исповедь

С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только посреди общего молчания раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: «Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится пред богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь», – ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.

Первый прошел исповедоваться папа. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во все это время мы все в диванной молчали или шепотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке, покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.

– Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри все скажи. Ты ведь у меня большая грешница, – весело сказал папа, щипнув ее за щеку.

Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.

Наконец после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно все больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.

Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб все внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренно), – несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.

Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Все мое спокойствие мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грех будете иметь…» – слышалось мне беспрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался с боку на бок, передумывая свое положение и с минуты на минуту ожидая божьего наказания и даже внезапной смерти, – мысль, приводившая меня в неописанный ужас. Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет идти или ехать в монастырь к духовнику и снова исповедаться, – и я успокоился.

Глава VII

Поездка в монастырь

Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищенные, лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу.

На противоположной стороне, из-за зеленой крыши большого дома, краснелась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь, на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он спросонков, должно быть, запросил с меня всего двугривенный до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо! нельзя, барин», – бормотал он.

Насилу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «Садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажилась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по Воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит.

Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника.

– Вон его келья, – сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минутку и указывая на маленький домик с крылечком.

– Покорно вас благодарю, – сказал я…

Но что обо мне могли думать монахи, которые, друг за другом выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я все-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом.

Старичок в черной одежде, с густыми седыми бровями, встретился мне на узенькой дорожке, ведущей к кельям, и спросил, что мне надо?

Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой, но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени.

– Пойдемте, барчук, я вас проведу, – сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение, – батюшка в утрени, он скоро пожалует.

Он отворил дверь и через чистенькие сени и переднюю, по чистому полотняному половику, провел меня в келью.

– Вот тут и подождите, – сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел.

Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка гераней, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями; на перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными известкой палочками (за которой, верно, стояла кровать), висело на гвоздиках две рясы.

Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника – говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной, жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастия…

«Проходят месяцы, проходят годы, – думал я, – он все один, он все спокоен, он все чувствует, что совесть его чиста пред богом и молитва услышана им». С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник все стучал так же – направо громче, налево тише.

Глава VIII

Вторая исповедь

Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости.

– Здравствуйте, – сказал он, поправляя рукой свои седые волосы. – Что вам угодно?

Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцеловал его желтоватую небольшую руку.

Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь.

Когда исповедь кончилась и я, преодолев стыд, сказал все, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «Да будет, сын мой, над тобою благословение отца небесного, да сохранит он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь».

Я был совершенно счастлив; слезы счастия подступали мне к горлу; я поцеловал складку его драдедамовой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.

Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления, и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником, и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колыхающиеся полосатые дрожки. Но толчки экипажа, пестрота предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство; и я уже думал о том, как теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден; и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.

Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь; но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился к нему.

– Что, долго я был? – спросил я.

– Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора; ведь я ночной, – отвечал старичок извозчик, теперь, по-видимому, с солнышком, повеселевший сравнительно с прежним.

– А мне показалось, что я был всего одну минуту, – сказал я. – А знаешь, зачем я был в монастыре? – прибавил я, пересаживаясь в углублении, которое было на дрожках ближе к старичку извозчику.

– Наше дело какое? Куда седок скажет, туда и везем, – отвечал он.

– Нет, все-таки, как ты думаешь? – продолжал я допрашивать.

– Да, верно, хоронить кого, ездили место покупать, – сказал он.

– Нет, братец; а знаешь, зачем я ездил?

– Не могу знать, барин, – повторил он.

Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувство, которое я испытывал.

– Хочешь, я тебе расскажу? Вот видишь ли…

И я рассказал ему все и описал, все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании.

– Так-с, – сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армяка, которая все выбивалась из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, – то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но он вдруг обратился ко мне:

– А что, барин, ваше дело господское.

– Что? – спросил я.

– Дело-то, дело господское, – повторил он, шамкая беззубыми губами.

«Нет, он меня не понял», – подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома.

Хотя не самое чувство умиления и набожности, но самодовольство в том, что я испытал его, удержалось во мне всю дорогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах, но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух двугривенных, чтоб заплатить извозчику. Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал мне больше взаймы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтоб доставать деньги, должно быть, догадавшись, зачем я бегаю, слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить, с видимым желанием уколоть меня, о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду.

Дома еще все спали, так что, кроме людей, мне не у кого было занять двух двугривенных. Наконец Василий под самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видел) он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтоб со всеми вместе идти причащаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил. Надев другое платье, я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.

Глава IX

Как я готовлюсь к экзамену

В четверг на святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и St.-Jer?me. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь,

совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное, воспоминание, которое все более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни.

Тетрадь с заглавием «Правила жизни» тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к богу. «Вот тогда я это отнесу туда и еще много, много мыслей, которые мне придут тогда, по этому предмету», – говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее – тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? – и не могу себе дать положительного ответа.

Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладеть с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало, утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнёт из окна каким-нибудь весенним духом, – покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собой начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно и с такою быстротою начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь все внимание на то, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, – и все выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что, кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. «Ну, а ежели это вдруг она? – приходит в голову, – ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» – и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша; но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате; вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях, по

углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо, – опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто тоже долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку «Соловья», которого двумя пальцами наигрывала на фортепьянах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник и, вглядываясь в освещенную крышу Шапошникова дома, и стройную колокольню нашего прихода, и в вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра.

Так что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не St.-Jer?me, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, не желание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, то есть выдержать отлично экзамен, что, по его понятиям, было очень важною вещью, – ежели бы не это, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.

Глава X

Экзамен истории

Шестнадцатого апреля я в первый раз под покровительством St.-Jer?me’a вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и все платье, даже белье, чулки, было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколько совестно за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в сенях как бы

сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который, в отдалении от других, сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они, по моим тогдашним понятиям, легко распределялись на три рода.

Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями, и в числе их меньшой Ивин с знакомым мне Фростом и Иленька Грап с своим старым отцом. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели выпущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И, наконец, третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках, и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что наверно был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он, облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и, только на мгновенье взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глянцевитый локоть, чтоб я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. Один, сунув мне в руку книгу, сказал: «Передайте вон ему»; другой, проходя мимо меня, сказал: «Пустите-ка, батюшка»; третий, перелезая через лавку, уперся на мое плечо, как на скамейку. Все это мне было дико и неприятно; я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были позволять себе со мною такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии; гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело; наша братья робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда вызвали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестящими глазами, грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к

столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел. Уж несколько раз я содрогался при звуке голоса, вызывающего фамилии, но еще до меня не доходила очередь по алфавитному списку, хотя уже вызывали фамилии, начинающиеся с К. «Иконин и Теньев», – вдруг прокричал кто-то из профессорского угла. Мороз пробежал у меня по спине и в волосах.

– Кого звали? Кто Бартеньев? – заговорили вокруг меня.

– Иконин, иди, тебя зовут; да кто же Бартеньев, Морденьев? я не знаю, признавайся, – говорил высокий румяный гимназист, стоявший за мной.

– Вам, – сказал St.-Jer?me.

– Моя фамилия Иртеньев, – сказал я румяному гимназисту. – Разве Иртеньева звали?

– Ну, да; что ж вы нейдете?.. Вишь, какой франт! – прибавил он не громко, но так, что я слышал его слова, выходя из-за скамейки. Впереди меня шел Иконин, высокий молодой человек лет двадцати пяти, принадлежавший к третьему роду, старых. На нем был оливковый узенький фрак, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные a la мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был недурен собою, разговорчив; и меня особенно поразили в нем странные рыжие волоса, которые он отпустил себе на горле, и еще более странная привычка, которую он имел, – беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.

Три профессора сидели за тем столом, к которому я подошел вместе с Икониным; ни один из них не ответил на наш поклон. Молодой профессор тасовал билеты, как колоду карт, другой профессор, с звездой на фраке, смотрел на гимназиста, говорившего что-то очень скоро про Карла Великого, к каждому слову прибавляя «наконец», и третий, старичок в очках, опустив голову, посмотрел на нас через очки и указал на билеты. Я чувствовал, что взгляд его был совокупно обращен на меня и Иконина и что в нас не понравилось ему что-то (может быть, рыжие волосы Иконина), потому что он сделал, глядя опять-таки на обоих нас вместе, нетерпеливый жест головой, чтоб мы скорее брали билеты. Мне было досадно и оскорбительно, во-первых, то, что

никто не ответил на наш поклон, а во-вторых, то, что меня, видимо, соединяли с Икониным в одно понятие экзаменующихся и уже предубеждены против меня за рыжие волосы Иконина. Я взял билет без робости и готовился отвечать; но профессор указал глазами на Иконина. Я прочел свой билет: он был мне знаком, и я, спокойно ожидая своей очереди, наблюдал то, что происходило передо мной. Иконин нисколько не оробел и даже слишком смело, как-то всем боком двинулся, чтоб взять билет, встряхнул волосами и бойко прочел то, что было написано на билете. Он открыл было рот, как мне казалось, чтобы начать отвечать, как вдруг профессор со звездой, с похвалой отпустив гимназиста, посмотрел на него. Иконин как будто что-то вспомнил и остановился. Общее молчание продолжалось минуты две.

– Ну, – сказал профессор в очках.

Иконин открыл рот и снова замолчал.

– Ведь не вы одни; извольте отвечать или нет? – сказал молодой профессор, но Иконин даже не взглянул на него. Он пристально смотрел в билет и не произнес ни одного слова. Профессор в очках смотрел на него и сквозь очки, и через очки, и без очков, потому что успел в это время снять их, тщательно протереть стекла и снова надеть. Иконин не произнес ни одного слова. Вдруг улыбка блеснула на его лице, он встряхнул волосами, опять всем боком развернувшись к столу, положил билет, взглянул на всех профессоров поочередно, потом на меня, повернулся и бодрым шагом, размахивая руками, вернулся к лавкам. Профессора переглянулись между собой.

– Хорош голубчик! – сказал молодой профессор, – своекоштный!

Я подвинулся ближе к столу, но профессора продолжали почти шепотом говорить между собой, как будто никто из них и не подозревал моего присутствия. Я был тогда твердо убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, выдержу ли я экзамен и хорошо ли я его выдержу, но что они так только, для важности, притворялись, что это им совершенно все равно и что они будто бы меня не замечают.

Когда профессор в очках равнодушно обратился ко мне, приглашая отвечать на вопрос, то, взглянув ему в глаза, мне немножко совестно было за него, что он так лицемерил передо мной, и я несколько замялся в начале ответа; но потом

пошло легче и легче, и так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично, то я кончил блистательно и даже до того расходился, что, желая дать почувствовать профессорам, что я не Иконин и что меня смешивать с ним нельзя, предложил взять еще билет; но профессор, кивнув головой, сказал: «Хорошо-с», – и отметил что-то в журнале. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, бог их знает как, все узнавали, что мне было поставлено пять.

Глава XI

Экзамен математики

На следующих экзаменах, кроме Грапа, которого я считал недостойным своего знакомства, и Ивина, который почему-то дичился меня, я уже имел много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. Иконин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлогоднего экзамена, на котором он будто бы тоже сбил его. Семенов, который поступал в один факультет со мной, в математический, до конца экзаменов все-таки дичился всех, сидел молча один, облокотясь на руки и засунув пальцы в свои седые волосы, и экзаменовался отлично. Он был вторым; первым же был гимназист первой гимназии. Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть у первого гимназиста. Он говорил со всеми так же, как и все, даже и я с ним познакомился, но все-таки, как мне казалось, в его походке, движениях губ и черных глазах было заметно что-то необыкновенное, магнетическое.

На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то утаил от учителя и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню: теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал два незнакомые вопроса; но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я предчувствовал, мешали мне вникнуть в

то, что я читал.

– Вот он, поди сюда, Нехлюдов, – послышался за мной знакомый голос Володи.

Я обернулся и увидал брата и Дмитрия, которые в расстегнутых сюртуках, размахивая руками, проходили ко мне между лавок. Сейчас видны были студенты второго курса, которые в университете как дома. Один вид их расстегнутых сюртуков выражал презрение к нашему брату поступающему, а нашему брату поступающему внушал зависть и уважение. Мне было весьма лестно думать, что все окружающие могли видеть, что я знаком с двумя студентами второго курса, и я поскорее встал им навстречу.

Володя даже не мог удержаться, чтоб не выразить чувства своего превосходства.

– Эх ты, горемычный! – сказал он. – Что, не экзаменовался еще?

– Нет.

– Что ты читаешь? Разве не приготовил?

– Да, два вопроса не совсем. Тут не понимаю.

– Что? Вот это? – сказал Володя и начал мне объяснять бином Ньютона, но так скоро и неясно, что, в моих глазах прочтя недоверие к своему знанию, он взглянул на Дмитрия и, в его глазах, должно быть, прочтя то же, покраснел, но все-таки продолжал говорить что-то, чего я не понимал.

– Нет, постой, Володя, дай я с ним пройду, коли успеем, – сказал Дмитрий, взглянув на профессорский угол, и подсел ко мне.

Я сейчас заметил, что друг мой был в том самодовольно-кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой, и которое я особенно любил в нем. Так как математику он знал хорошо и говорил ясно, он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Но едва он кончил, как St.-Jer?me громким шепотом проговорил: «A vous, Nicolas!»[3 - Вам, Николай! (фр.)] – и я вслед за Икониным вышел из-за лавки, не успев пройти

другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидело два профессора и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист бойко выводил какую-то формулу, со стуком ломая мел о доску, и все писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему: «Довольно», – и велел нам взять билеты. «Ну что, ежели достанется теория сочетаний!» – подумал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. Иконин с тем же смелым жестом, как и в прошедший экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет, взглянул на него и сердито нахмурился.

– Все этакие черти попадаются! – пробормотал он.

Я посмотрел на свой.

О ужас! это была теория сочетаний!..

– А у вас какой? – спросил Иконин.

Я показал ему.

– Этот я знаю, – сказал он.

– Хотите меняться?

– Нет, все равно, я чувствую, что не в духе, – едва успел прошептать Иконин, как профессор уж подозвал нас к доске.

«Ну, все пропало! – подумал я. – Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом, хуже Иконина». Но вдруг Иконин, в глазах профессора, поворотился ко мне, вырвал у меня из рук мой билет и отдал мне свой. Я взглянул на билет. Это был бином Ньютона.

Профессор был не старый человек, с приятным, умным выражением, которое особенно давала ему чрезвычайно выпуклая нижняя часть лба.

– Что это, вы билетами меняетесь, господа? – сказал он.

– Нет, это он так, давал мне свой посмотреть, господин профессор, – нашелся Иконин, и опять слово господин профессор было последнее слово, которое он произнес на этом месте; и опять, проходя назад мимо меня, он взглянул на профессоров, на меня, улыбнулся и пожал плечами, с выражением, говорившим: «Ничего, брат!» (Я после узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен.)

Я отвечал отлично на вопрос, который только что прошел, – профессор даже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил – пять.

Глава XII

Латинский экзамен

Все шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов – вторым, я – третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я совсем не шутка.

Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекоштных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. St.-Jer?me, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько од Горация и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других, но вышло иначе. Все утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня: тому поставил нуль, тому единицу, того еще разбранил и хотел выгнать и т. д., и т. д. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по пять каждый. Я уже предчувствовал несчастие, когда нас вызвали вместе с Икониным к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек, с длинными маслеными волосами и с весьма задумчивой физиономией.

Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его.

К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа и Иконин по-прежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору, но вышло наоборот.

– Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь, – сказал мне профессор дурным русским языком, – посмотрим. Ну, скажите вы.

Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же на вопрос из синтаксиса, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня.

– Хорошо-с, придет и ваш черед, увидим, как вы знаете, – сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал.

– Ступайте, – добавил он; и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину четыре. «Ну, – подумал я, – он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресла, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Все это притворство показалось ему, однако, недостаточным, он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул.

– Ах, да! еще вы? Ну, переведите-ка что-нибудь, – сказал он, подавая мне какую-то книгу, – да нет, лучше вот эту. – Он перелистывал книгу Горация и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести.

– Я этого не готовил, – сказал я.

– А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть, – хорошо! Нет, вот это переведите.

Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только «нет». Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец; сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресла, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, мне казалось не то.

– Не то, не то, совсем не то, – заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облокачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. – Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение; вы все хотите только мундир носить с синим воротником; верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами; нет, господа, надо основательно изучать предмет, и т. д., и т. д.

Во все время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманием смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена, и, наконец, к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения; сверх того, презрение к профессору за то, что он не был, по моим понятиям, из людей comme il faut, – что я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти, – еще более разжигало во мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне балл и, как будто сжалившись надо мной, сказал (и еще при другом профессоре, который подошел в это время):

– Хорошо-с, я поставлю вам переходный балл (это значило два), хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважение вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны.

Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил: «Да, вот видите, молодой человек!» – окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом: страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне с страшной, односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «А что, ежели?.. что из этого будет?» Но я этого почему-то не сделал, а напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется, той же улыбкой, какой улыбался

Иконин, отошел от стола.

Несправедливость эта до такой степени сильно подействовала на меня тогда, что, ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие (уже нельзя было и думать о том, чтоб быть третьим), и остальные экзамены я спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня было, однако, четыре с лишком, но это уже вовсе не интересовало меня; я сам с собою решил и доказал это себе весьма ясно, что чрезвычайно глупо и даже mauvais genre[4 - дурной тон (фр.).] стараться быть первым, а надо так, чтоб только ни слишком дурно, ни слишком хорошо, как Володя. Этого я намерен был держаться и впредь в университете, несмотря на то, что в этом случае я в первый раз расходился в мнениях с своим другом.

Я думал уже только о мундире, трехугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.

Глава XIII

Я большой

Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть.

Восьмого мая, вернувшись с последнего экзамена, закона божия, я нашел дома знакомого мне подмастерье от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье, с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.

Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что St.-Jer?me уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. Гаврило, дворецкий, догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал, по приказанию папа, четыре беленькие

бумажки и сказал, что, тоже по приказанию папа, с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой Красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что мне пришло в голову, – кажется, что «Красавчик отличный рысак». Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней и коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через залу в своем новом сюртуке с блестящими золотыми пуговицами. В то время как я входил к Володе, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною на ты; Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника; Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто, хотя он был и рад моему поступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. St.-Jer?me, который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал все, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо-самодовольная улыбка, и замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.

И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее, будочники могут иногда делать мне честь… я большой, я, кажется, счастлив.

Обедать мы решили у Яра в пятом часу; но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся во все зеркала то в застегнутом сюртуке, то совсем в расстегнутом, то в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и все мне казалось отлично. Потом, как мне ни совестно было показывать слишком большую радость, я не удержался, пошел в конюшню и каретный сарай, посмотрел Красавчика, Кузьму и дрожки, потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане и все так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление в том, что никто меня не видит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки и решил, что мне лучше всего

съездить на Кузнецкий мост сделать покупки.

Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое.

При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаге я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациаро. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей В. Адама, для того чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володе, но, торопясь от стыда в беспокойстве, которое я доставлял услужливому магазинщику, выбрать поскорее, я взял гуашью сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее двадцать рублей. Однако, заплатив в магазине двадцать рублей, мне все-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинщиков такими пустяками, и притом казалось, что они все еще слишком небрежно на меня смотрят. Желая им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и, узнав, что это был porte-crayon,[5 - вставка для карандаша (фр.).] который стоил восемнадцать рублей, попросил завернуть его в бумажку и, заплатив деньги и узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, я купил, тоже из желания не подражать никому, не Жукова, а султанского табаку, стамбулку трубку и два липовых и розовых чубука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал: «Подавай!» – и, сев на дрожки, догнал Семенова.

– Здравствуйте-с, – сказал я ему.

– Мое почтение, – отвечал он, продолжая идти.

– Что же вы не в мундире? – спросил я.

Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но собственно затем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел

дальше.

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской и хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков восемь всех тех сортов, которые только были в кондитерской.

Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу; но, не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделал ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Володя, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. Porte-crayon дома мне тоже не понравился; я положил его в стол, утешая себя, однако, мыслью, что это вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать.

Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки, султанским табаком, я положил на нее горящий трут и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем (положение руки, особенно мне нравившееся), стал тянуть дым.

Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако скрепив сердце я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната дошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором.

Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и с страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогло, изображенный на четвертке, в валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с

разочарованием грустно думал: «Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы».

Дмитрий, заехав за мною в пятом часу, застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако, я почти оправился и был готов ехать с ним.

– И что вам за охота курить, – сказал он, глядя на следы моего курения. – Это всё глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить… Однако поедем скорей, еще надо заехать за Дубковым.

Глава XIV

Чем занимались Володя с Дубковым

Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу, походке и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гримасливо подергивать головой набок, как будто для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находился в своем холодно упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой, и которое всегда производило охлаждающее действие на мое к нему чувство. В последнее время я уже начинал наблюдать и обсуживать характер моего друга, но дружба наша вследствие этого нисколько не изменилась: она еще была так молода и сильна, что, с какой бы стороны я ни смотрел на Дмитрия, я не мог не видеть его совершенством. В нем было два различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый и с сознанием этих любезных качеств. Когда он бывал в этом расположении духа, вся его наружность, звук голоса, все движения говорили, казалось: «Я кроток и добродетелен, наслаждаюсь тем, что я кроток и добродетелен, и вы все это можете видеть». Другой – которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся – был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный до фанатизма и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.

С откровенностью, составлявшей необходимое условие наших отношений, я сказал ему, когда мы сели в дрожки, что мне было грустно и больно видеть его в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом, неприятном для меня расположении духа.

– Верно, что-нибудь вас расстроило: отчего вы мне не скажете? – спросил я его.

– Николенька! – отвечал он неторопливо, нервически поворачивая голову набок и подмигивая. – Ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным, а ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам не могу себе дать отчета.

«Какой это удивительно открытый, честный характер», – подумал я и больше не заговаривал с ним.

Мы молча приехали к Дубкову. Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такою. Везде были ковры, картины, гардины, пестрые обои, портреты, изогнутые кресла, вольтеровские кресла, на стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами. Какой-то незнакомый мне господин (должно быть, неважный, судя по его скромному положению) сидел подле стола и очень внимательно смотрел на игру. Сам Дубков был в шелковом халате и мягких башмаках. Володя без сюртука сидел против него на диване и, судя по раскрасневшемуся лицу и недовольному беглому взгляду, который он, на секунду оторвав от карт, бросил на нас, был очень занят игрой. Увидев меня, он покраснел еще больше.

– Ну, тебе сдавать, – сказал он Дубкову. Я понял, что ему было неприятно, что я узнал про то, что он играет в карты. Но в его выражении не было заметно смущения, оно как будто говорило мне: «Да, играю, а ты удивляешься этому только потому, что еще молод. Это не только не дурно, но должно в наши лета».

Я тотчас почувствовал и понял это.

Дубков, однако, не стал сдавать карты, а встал, пожал нам руки, усадил и предложил трубки, от которых мы отказались.

– Так вот он, наш дипломат, виновник торжества, – сказал Дубков. – Ей-богу, ужасно похож на полковника.

– Гм! – промычал я, чувствуя опять на своем лице распускающуюся глупо-самодовольную улыбку.

Я уважал Дубкова, как только может уважать шестнадцатилетний мальчик двадцатисемилетнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек, который отлично танцует, говорит по-французски и который, в душе презирая мою молодость, видимо, старается скрывать это.

Несмотря на все мое уважение, во все время нашего с ним знакомства, мне, бог знает отчего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей – тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но наверное уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, что я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

я могу (фр.).

2

я могу (фр.).

3

Вам, Николай! (фр.)

4

дурной тон (фр.).

5

вставка для карандаша (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/lev-tolstoy/yunost-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити